

АЛЕКСЕЙ ГРЯКАЛОВ
Философ, писатель



Родился в 1948 в селе Красносёловка Воронежской области (Верхний Дон). Окончил философский университет ЛГУ. Доктор философских наук. Профессор кафедры истории философии и философской антропологии РГПУ им. А. И. Герцена. Руководитель Центра исследований философии современности этого университета. Автор монографий: «Структурализм в эстетике» (1989), «Эстетизм и логос» (2000), «Письмо и событие» (2007), посвященных исследованию отношений авангардного эстетического опыта и философской рефлексии XX века. Как прозаик печатается в литературных журналах с середины восьмидесятых годов. Член Союза писателей России.

СЛЕПОЙ ОРЁЛ/ЗРЯЧИЙ КРОТ

Подземный куплет

Косая скобка — Косая линия.

Васильевский остров — поэтическая жаба в манжетах, трамвай красный запонкой загремел. Гусеница станции Василеостровской втягивает в брюхо, поджимает ступени.

*Чего герою надо —
Зачем спешит в метро?
Чтоб дамы были рядом —
И плечи и бедро.*

Чего боишься, мерин?

Из-за тёмных очков и в самом деле почти ничего не видел — меринном зашоренным ступал вдоль острых углов. Будто б втирался в воздух, теряя естественное телесное обхождение, приобретал привычки чужой плоти — с каждым куплетом становилась собственной. Теперь даже удивлялся давнему собственному непониманию — когда-то в Волоколамске под Москвой в институте реабилитации инвалидов по зрению женщина — ночной психолог — рассказала, как водила слепоглухую девочку первый раз в церковь. И потом ребёнок рассказывал, как красиво в храме, красиво тихо поют и какая красивая Богородица.

Откуда? — чувствовала колебания тёплого воздуха от молитвы, певчих — мерцал воздух, приближались и отдалялись нестрашно шаги, кто-то погладил девочку по голове, капли сладкого церковного кагора стекли в жаждущий прикосновения рот. И похожая на мать всех матерей женщина была рядом — ночной психолог никогда не бросает своих.

Слабовидящий мастер подарил ему тогда настоящую брашну из липы: *А что кому до нас, коли праздничек у нас* — вилась надпись по верхнему

краю чаши. Теперь он складывал в неё чётки — из Китая буддистские, шао-линские и даосские, длинные с большим крестом мексиканские, в Тобольске купил вязаные чётки небесного цвета — нигде никогда не видел такого синего неба, как над Иртышом. Такой небесно-голубой, необычайно живой цвет вставал перед глазами в редкие минуты, когда давно его нежно любила теперь совсем далёкая женщина. Теперь её не было рядом — никаким усилием нельзя было вызвать к жизни созданный ангелами-художниками небесный цвет. Остался только след цвета, только о нём память. Чётки по-разному перетекали в руках, думал о странном великом согласии всех религий, теперь примирённых в одной брашне, сработанной полуслепым мастером, — будто бы не различал перегородок между богами, перетекали в пальцах, как чётки.

Может, на самом деле он оскорблял богов общим примирением в липовой брашне? А надпись о праздничке говорила о том, что все великие примиренно забыты?

Вынимал вечерами чётки из чаши — отступали мелькающие минуты, время будто бы переливалось в перетеканье, и думал, что с помощью чётки стал лучше понимать всё. Будто бы отвернулся от слепящего дня и перестал замечать сумерки и ночь — светлое и тёмное одинаково вплелись в бусины и узелки... на бывшего замдиректора по науке Музея религий почти все уж давно махнули рукой — перебирая чётки, станет неуязвимым в оставшихся днях.

Не хотел не только до срока, вообще не хотел умирать!

Чудесной бесконечности научился у волоколамских певчих — как чётки не кончаются, так длится песня слепца. Зрячий может оглянуться и женщину взглядом достать — волоколамский только то имеет, что держит в руке. И песня не знает будто бы перерыва — от куплета к куплету, страха чёрного нету. Только мелодией бесконечной жить буду одной — и ещё под одной!

Перебирая кнопки купленной на Сенном рынке гармони, пошёл-пошёл — издавдалека припомнил три мелодии, четвертую сам сложил под куплет, побрёл, побираясь, и странно, что до сего дня никто не окликнул его — будто бы никто не знал никогда. А ведь на прекрасном Васильевском острове был самый лучший в мире Университет, где он провёл восемь лет.

*По-о-дзе-емные туннели
Для вас — людей-мышей!
Играй повеселее —
Завязочки пришей!*

Ко рту завязки, пребывай в мире — побереги связки в подземном эфире. И осторожно: звери! Вскочил очередной подземный жилец — толкнул артиста, створки-челюсти схлопнулись — капкан, ударила левая половина по пальцам на басовых кнопках. Звери закрываются!

А подайте ущербному барду за эротическое стремление! — крестословица у каждого нормально зрячего перед лицом.

*Ще-е-ерба-атый орган пенья,
Щербатая душа –
Красотка на сиденье
Уж больно хороша!*

— Вы здесь все сами не местные, а я самый подместный — день-ночь под землёй. Ещё раз в плечо толкнёт потаскуха-дверь. Гармонь от толчка распустилась: гр-рау — басов белые кнопки сползли к чужим золотым ногам. Свои надо расставить — низ живота мыслью ощупать, чтоб устоячивость разыграть — всё качнётся к своим местам: Августин с блаженной Менделеевской линии философически покивал — как раз над головой: тяжесть стремится всякое тело к своему месту. Стремит похмельная под землю, чтоб каждый день заработать на пельмени и шкалик — славянка прощается с бедным Пушкиным на станции Чёрная речка — пошёл на войну, мелькнули два цветка у ног памятника. Рывком на сопки Маньчжурии по дунайским волнам двинулся табор цыганский — ведёт подземный репертуар до конца ветки к проспекту Просвещения — к Просвету.

Для разогрева подан классический репертуар, а потом судьба и эротика!

*Кро-осво-орды и сканворды
Оставьте на потом,
Красотка снизу гордо
Вильну-ула животом –*

И вслух с пафосом, обращаясь ко всем сразу: три металла ценятся у настоящих мужчин. Серебро — на висках, в карманах золото... всеобщий эквивалент, железо скукожилось после палёной водки в обвислых камуфляжных штанах.

Серебро своё, подайте золота эквивалент!

*Не-е-е вижу, ах не вижу,
Прекрасный белый свет.
Люблю... эх, ненавижу –
Кого в ладони нет! –*

Да ничего-ничего-ничего.

Вот рядом бокастая чашка с теплом — каждая петербурженка желает по утрам, чтоб ласково прикоснулся невзначай к ней кто-то в метро. Даже прошлое ночное объятие, если было, не спасает от одиночества под землёй. Нева над головами, рыбы и лёд ладожский, баркасы чёрные с рыбаками, миноги под мостом вьются, небо плывёт по воде — разве не вся жизнь наверху, а под землёй одно коллективное вагонное тело — тонкая кожа, да платье, да плоть? Чем тело от плоти отлично? — плоть в метро ведёт себя неприлично! Развесели хоть песней, прикоснёшься ладонью — она будет терпеть, хоть бы один миг, пока отвернёт поезд от течения Большой Невы. Так русская философия ощупью философствует — у русских украл идею

знаменитый француз, снова русский лён вернулся домой офранцузенным полотном.

А русский куплет — французским шансоном.

*Папа-аша и мамаша —
Российского житья.
Плохая водка наша —
Горька судьба моя.*

И под воровской будто б робкой и неудалой ладонью выгнется слегка полная жизни чаша — чудный изгиб такой был у Грушеньки: толк-толк — просится плоть в раскрытую ладонь. Чудо женское ни под чьей ладонью чудом быть не перестает — старший Карамазов есть крупный идеолог любви. А я как все Карамазовы! Митенькой-офицером хотел всех полюбить. Иваном Фёдоровичем статейки писал о свободе в русском сознании серебряных дней — по именам всех: Николай Александрович, Сергей Николаевич, Фёдор Августович. Про монастырь подумал один раз поутру, как младший из Карамазовых.

А сейчас сам собой подземный несправедный монастырёк.

Я Элиота переводил со словарём и хорошо перевёл. Мелкий почерк сейчас не различил бы — по памяти строчку восстановлю.

*Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи, —
Проходит явь, проходит сон,
Любовь проходит, проходит всё.*

Это не Элиот? — нет под землёй разницы. И времени нет — вон прямо за бараком направо оседает на землю нанаец-рыбак — в угол несущегося под землёй вагона забился из давних дней. И ещё тянет из горлышка, голову задрал к бирюзовому небу, зелёная бутылка донцем к светильнику.

0,7

На всём берегу знали: ноляга! Смотрит из школы на рыбака выпускной народ, скоро последний вечер — с учителями вино и свобода, директор тоже взглянул — перестал рассказывать про солдата, что пробежал в бою десять метров без головы. Десятый класс весь знает нолягу. Девятый, восьмой и седьмой знают! А от первого до шестого ноляга пока зелёный запретный вакуум, почти всегда на дне колышется проспиртованная букашка.

Без головы оседает на серую землю абориген — двадцать метров к лодке на берегу не одолеть.

Ноля-яга!

На руки возьмут выпускники-дружинники самарского нанайца-князя, чтоб не замёрз под утро.

На руки милую — по Дворцовому мосту перед самым эректусом — крылья вздыбливаются, возвышаются гордо, и он, гордый-отважный, с Ната-

шею на руках бежал. Последний раз с ней на руках, сердце готово прыгнуть с моста: буду бежать, пока не упаду. Ноляга моя стройненькая, цвет глаз изменяется в зависимости от освещения, неузнаваемой становится в полночи и совсем незнакомой в предутрии... лёгкая — бараний вес, мне уже сорок, как градусов в ноляге. Приметил тебя в гимназии в Новгороде. Каждую субботу из Питера на электричке в Новгород, чтоб лекцию про культуру гимназистам прочесть — не поймут всё равно, что культура висит над бездной. Всем рассказывал, как бежал в сторону Николаевского вокзала, чтоб успеть на электричку, а потом в Новгороде мимо судаков на рынке, мимо цыганок, мимо собственного дома — она одна понимала, что стремился к ней. И будет смотреть с обожанием в чёрных глазах? Последняя радость Наташа была, сейчас диссертацию пишет про символику креста.

А теперь рядом подземный свой крест, не остановиться — бежать и бежать в куплете, чернеет туннель, вздыбился мост — спешу, а то сразу по голосникам, по басам — по обеим рукам ударит музыканта жёсткая зверь-дверь.

Нет, так нельзя-нельзя — страстями только герои жили — в Новгородской области до войны было товарищество по обработке земли «Братья Карамазовы». Митя был председатель, Иван — зверовод, а младший Алёшка — по семенам уполномоченный. Ехидствовал тесть-кулак — упал намоченный, даже законной нет — младшую дочку увёл Алексей без венчания. Три бывших моряка балтфлота название книжки про трёх земляков-братьев прочли, и жёны, понятное дело, у активистов были родными сёстрами. Давно — а вот, артельщики всех времён, попробуй милую у меня отыми! Я уж Дворцовый мост с ней на руках пробежал, мы спустились к воде, Нева к ногам плещет, скалится лев кобелю навстречу. Зачем студентке Карамазов старший нужен? Зачем средний нужен, зачем младший? Не в артель же её вводить.

А никто до меня не любил её — я зубами скрипеть умею... трёх балтийцев местные старорусские тоже не любили — объединились в товарищество, под себя всех подмели! Она импринтинг пережила на моей лекции — я первым впечатан ей в сердце и в тело.

И приспособить можно Элиота под свою подземную песню.

*Про-охо-дит жизнь, проходит,
Как ветерок по ржи, —
Зачем она приходит,
Зачем со мной лежит?*

В норе Апраксина переулка — казённая квартирка норой названа — бывает со мной, не думаю тогда ни о чём, но не просто самец! Я слепого играю день в день, я уже отвыкаю смотреть. Мне не нужны лица, я всех перещупаю — меня не видят, а я различаю всех. И какие грустные все в петербургском метро! А лучшие мысли на перегоне от проспекта Ветеранов к Ленинскому проспекту. Патогенная зона обыденности, родник идей где-то под толщей асфальта. Метафизика Петербурга — подземная физика бывшей столицы. Культурная столица... тысяч тридцать беспризорничков? И каждый со своей песней... давай ко мне!

Первое слово на неслыханную под землёй высоту вскинул —

*Закро-ойте уши-очи!
Конец весны-зимы!
Кончаю песню ночи —
Кончаемся все мы.*

— враз отодвинулись ближние. Предел голоса, предел существования. Ни солнце, ни смерть не поддаются прямому взгляду — в подземке солнце никому не в соблазн. Всё должно измениться — даже рыдание... умный среди французов румын. И немцы не понимают: Достоевский, но в меру. Как может быть в меру? Не поверили, что товарищество по обработке земли названо «Братья Карамазовы», кладбище ровное немецкое над Ильмень-озером хорошо обработано — выстроилось немчура-немчурой. Британец в Старой Руссе чемодан свой Наташе вручил — Достоевского он изучает, — гнётся бедная достоевская кобылка на каблучках, а он на Скотопригоньевск колониальным глазом взирает. Ты в Старой Руссе, островитянин. Пенёк! Вслед покачал головой отец Богдан, дочка маленькая у него есть от прихожанки, в огромной ладони монаха качается, как в колыбельке. Выпить его приглашал, в соблазн вводил!

Век серебряный, затёртый, монетки посеребрённые! Ассигнации-тексты затёрханные. Ждёт холод да голод ужотко! Тюрьма да сума впереди! Свирепая крепкая водка — огнём разливайся в груди. Был Белый — белый — теперь чёрные все. Саша Чёрный — двойной тёзка. Здравствуй, бедный еврей. В подземку эмиграции оттеснили — звери закрываются. А ты как жизнь кончил? — на пожаре соседей спасал.

А ты, слышишь, как? — да никак.

И ради этого, ради этого, ради этого. Вслух прореветь — не поймут.

Заставить надо переменить оптику, задавить интонацией — куплет горизонты подземные раздвигает.

*Забу-удьте про проценты.
Про pro et contra. Ночь!
Студенты и доценты —
Контрацептивы прочь!*

Ору-ору в уши, слышат только шум и грохот, глаза скрыли кроссвордом, уши заткнули наушником.

А как я их всех любил! Ночи бессонные шестидесятнические, Элиота переводил на электричество. Дешёвое электричество советской страны. Вот она, книжечка с переводами, карманная библия, корешок шершавый выстраданный.

И ухожу.

Я ушёл. С обидой на меня жена и дети. С обидой вся золотая-медная прежняя жизнь. Комбайны там ползали по придонским полям, васильки синие на окраине ложились под зябь вспаханной загонки. Жёлтые заеды

на клювах слётков-воробьёв, губастый молодой голубь просит пропитания у родителей. А у тех уж новая птичья любовь. И у всех новая встреча.

А я простого пропитания, пропитанья прошу!

Песня слепого, как известно, континуальна, не знает разрыва. Не допущу паузы, чтоб пассажир не воткнул мне в куплет строку. Купле-етец! Неразличённый подземным полуглухим народцем куплет-хамлет. По подземелью слепым музыкантом брожу, брожу бражкой — аллитерации из курса теории литературы: в озере синем листья кувшинок. В озере чёрном подземном кувшинное рыло! Зашуршали тревожно шелка... неужели осень? Забытый плащ-болонья строчкой приличной переводной шуршит.

Но открылось вдруг странное-подземное дело! Бродил подземными коридорами, ползал то вверх, то вниз. И среди прочих всех заманил строчкой террористку — сама собой встроилась в подходящий куплет.

*Пове-е-ерхность Петербурга —
Шумит-гремит трамвай!
Огло-ох на оба уха:
Людей не убивай.*

Террористка черноглазая поняла, что он понял —

*Чеченец и славянец —
Ласкай свою жену.
Люби любви румянец —
И не люби войну.*

— в полночь от закрытого метро пошёл вокруг Заячьего острова — она догнала. Она поняла, что слепой понял, но хотела узнать: как понял? Запыхи различил?

Столкнуть слепого с моста, когда наклонится.

Взяла убогого под руку, он прижал её руку своей. И застёгивая меха гармошки, коснулся правой рукой груди — сразу откачнулась, давно никто не прикасался. А у неё красивая молодая грудь... слепой наклониться мог бы и прикоснуться губами — неразумный убогий младенец. Она же не знала жестоко-смешных историй — то под монастырь подводил обиженный поводырь всю компанию — настоятелю под окно полдесятка голых задов, то в баню поводыря со здоровенным слепцом пускали жалостливые влажные русские бабы. Тёр спинку разомлевшей слепец... да ты чего делаешь, дядя? — А что такое? — Да ты ж... оседлал! — А я и не вижу!

Она историй не знала — монастырей не было, общих бань не было, она вообще в бане никогда не была. А был сейчас рядом слепой, который её узнал.

Рядом шли мимо спящего зоопарка. И вдруг взвыл человеческим голосом пленный звериный сон. Некому зарешёченный сон передать — в никуда взревел сам собой.

И он после дикого утихшего крика сказал, что теперь у него нет никого. И у неё никого нет? Она сказала правду. А он врал для чего-то и врал.

И рассказал про Наташу, которой давно уже не было. Да почему ж не быть умирающей при жизни? Сил не хватило, я умер, а вы здесь живёте. На меня все в обиде: дочку не выучил на знаменитую скрипачку, сына не выучил на милиционера. Но я умер... на меня уж нельзя обижаться!

Пойдём со мной — позвал. Она не пошла.

Проводи меня! — повторил привычное, не подумав. Надо жить, жить.

И спел тихо без подыгровки.

*Житейский ополченец,
Не будь дурак-простак.
Не бей людей, чеченец.
Не бей людей, русак.*

Привычно-привычно. А ей в последнее время тоже все говорили привычно про лучшую смерть. Слушаешь? — он спросил.

Она посмотрела на зоопарк за спиной — оттуда снова проревел пленник, шпиль колокольни Петра и Павла светился странным светом, будто причастен к источнику на небе, стояла серебряная вода перед Стрелкой.

— Я сразу! Шахидка! Я сразу понял!

— Я сирота.

— Никто не любит? Я пожалею. Не предложат семьдесят два девственника в раю, ты ж в это не веришь? А может, жила с любовником и его другом — он вас застал и теперь ты здесь? Какой ты хотела смыть позор?

— Если б у меня были дети, они погибли бы, всё равно от кого.

— Боишься того, чего нет? Одинокая женщина... старая дева, вдова, разведённая, бедная, живёт вне семьи? Что ещё? — бесплодие, выкидыш, незаконные связи — с кем? Бросил жених?

— Не было у меня жениха.

— А если б был, мог погибнуть? Тебе сказали, что если станешь шахидкой, в раю будешь как русалка! Королевой красоты? Каждому попавшему в рай полагается семьдесят мест в раю для его родных. Но ты же сказала, что сирота!

— А ты разве слепой?

— Да у тебя даже мужа нет, за что ты хочешь себя убить? За что меня?

— До тридцати лет ко мне никто не подошёл. Я теперь поняла, кто ты!

— Одиночество не есть грех! Кто тебя запугал? Некому за тебя вступить. У тебя нет детей, но могут быть! Я читал листовку с твоим описанием... когда ещё мог читать. Но это всё равно, что описывать облако. Хотя тебя сразу узнал: женщина преимущественно молодого возраста. Пояс со взрывчаткой легко спрятать под свитер, куртку или плащ. Имеется возможность прикрепить взрывчатку к бедру. И в том, и в другом случае при движении контуры скрытого предмета проявляются. Бегающий взгляд, явная нервозность, некоторая скованность в движениях — пояс мешает ходьбе. Если смертница сама должна взорвать пояс, то руки у неё будут на животе. Для взрыва нужно совместить провода электродетонаторов. Ты похожа на зомби... я сам такой, потому я тебя узнал. Ты думала, смерть далеко? Она ря-

дом, как я. И для тех, кто тебя выбрал, — ты... ты мясо, которое посылают на смерть! Инструмент, отвёртка для крови... женщину мало кто заподозрит в кровавых намерениях. Ты могла бы стать живой куклой. Но в Коране прямо сказано: не убивайте себя!

— Кто ты такой?

— Плохо пересказал? А ведь был учителем.

— Я не знаю, что делать.

— Таких теперь тысячи! И я такой. И ничего, вроде бы, сложного. Две женщины было — в день семь рюмок... с работы уволили. Ору куплеты в метро. Тебя другие довели, а я по-русски себя сам.

*Я возьму большую мину
И в себя её задвину!*

Это будто бы наши бабы поют. Что самолёт алюминиевый, что баба тёплая! Ударили по фаллическим символам... по башням американским, теперь по остальному. Ты понимаешь? Я тебя узнал, ты от всех отводила глаза, а от меня не отвела. Думала, я совсем слепой? Но я только в сумерки... куриная слепота. Видел, ты хотела прикрыть плечи, ты осторожно несла сумочку, будто стакан там с водой. Да ведь джихад, дурочка, не убийство... это священное усилие! Это вот дом построить на высокой горе... тебя спасти — вот джихад!

— Я будто... всегда джеро!

— Я знаю, что это. Не-ет! Ты никого не встретила, и что? Тебя некому защитить? — некому и меня! У меня в норе пока можно пожить, пока не выгнали. Все бросили, и я всех бросил... всё тело болит, не от водки, я будто бы всё время в двух жизнях. Чувствую, как небо давит, мне в метро под землёй легче. А у тебя земля горит, ноги жжёт? Будто б предсмертный транс... радость жизни, будто бы от всего уж свободна. Так, так... только никого не взрывай! Ты останься... ничего больше не бойся. Думаешь, все ходят в твоей власти? Да ты сама в чужой власти, брось тех, они тебя не любят. Они тебя для себя изменили, они тебя изменили! Ты уже не думаешь, кто прав, а кто виноват!

— Но как... ты узнал?

— Смотрел... как на себя. Ты уж вырвалась из ужаса в радость, и я во-рвался — в метро с куплетом! Тебя насильовали... кто тебя обидел? Ты беремна?

— Не твоё дело.

— Будет моё, когда станешь рожать в норе. Чтоб войти в рай, необязательно убивать! Или хочешь, чтоб тебе выстрелили в лоно, как шахидкам в Норд-Осте? Чтоб не оставлять проклятого семени!

— Лоно... что такое?

— Откуда появляются дети... Шахидка не обязана оставлять потомства, главное, чтоб не рожали другие. Да я понимаю, говорить бесполезно... от меня всего никому пользы нет. Говорим с тобой — мёртвый с мёртвым, поэтому ты слышишь. Ты, дурочка, существо для смерти... лоно твоё теперь никогда не бывает влажным... ты просто взрывчатка. Но за что ты хочешь уме-

реть? Если умирать не хочешь? Ты думаешь, напишут в газетах? Кто-то заплачет? — ты не услышишь. Да скоро все привыкнут к таким, как ты! Те, кто послал, говорят, что вы суки, а все остальные вас ненавидят. Думаешь, в память о тебе сделают куклу? Барби-сиротка... шахидка!

— У меня была одна красивая кукла.

— Вот и радуйся! Ждешь, чтоб подсел пьяненький питерский мужичок: да взорви ты их всех! Но и тебя разорвёт на части, твоё тело... для этого родилась? Ты сегодня меня хоть не убивай... и у ног твоих я засну, как твоя собака. Ах ты, собачка моя! Руки коснусь, к плечу прикоснусь. И лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука.

— Где погоны — война.

— Это из прошлой войны... офицерский случайный вальс. Дай руку?

Рано, рано! Не верит ещё, ещё не верит.

Не пойдёт.

Идёт рядом.

Запах женщины незнакомый. Он женщин всех Наташами называл теперь — по-арабски. Эта неведомая была с восточным запахом и горячим плечом.

— Дай руку!

— Не сегодня, так завтра! — вдруг выдохнула она. — Нет у меня никого. А там я хоть буду со всеми.

— Нет. Не-ет! Там ты ни с кем не будешь. Хорошо там, где мы есть. Живи... ты живи!

— Как? Ты же узнал!

— Слепой крот — орёл под землёй.

Вода невская спешила вокруг них, запах гари из кочегарки белоколонной Биржи сразу был снесён стрельчатым ветром. И осколки свадебных фужеров трещали и лопались под ногами, будто после пожара.

Любо-овные обманы

Невидимы в огне.

Не бейте зря стаканы —

Отдайте лучше мне!

— Зачем чужое счастье?

— Звенела пустота счастливыми ночами! Ты начнёшь жить, я нищим больше не буду. Я с улыбкой умру.

— С улыбкой не умирают.

— Откроем лавку перепродажи фужеров! Не узнает никто... мы тебя перекрасим!

— Твоя занималась чем?

— Э-э... ревнивый гендер! Импринтинг выветрился... влюблённость прошла. Просто ей жалко меня. Она изучает символ креста.

— Не надо нам вашего креста!

Она вырвала руку — он дико крутнулся на месте, чтобы её схватить. И вдруг понял, что дело вовсе не в темноте, действительно начал слепнуть.

Фонари скукожились до собственных отражений, свет бледный освещал только самого себя, а небо и вовсе чернело, без звёзд, без облаков-зверей, без облаков-женщин.

Он остался один и обнял воздух вокруг себя.

Где прежняя милая Наташа, в объятьях сверстника-аспиранта? Где недавняя женщина без имени — он понюхал воздух, как злодей-парфюмер. Он читал про убийцу на запах. Но у того был талант пронюхать весь белый свет, средневековый европейский город не знал бани — духи изобрели, чтоб отбить дурной запах. Духи воюют, чтоб отбить запах чужих. Странно, не хотел выпить... первый раз не хотел, хоть знал, что через минуту захочет. И одному славно в ночи... нет, одному ночью нельзя. А теперь ночь будет всегда. Значит, нельзя одному.

И он закричал жалобно — так олениа кричат в тех местах, где пили ногу. Так, он понял, кричат, когда в ясном сознании умирают. Он достал бутылку, хотел пробку скрутить — порезал палец, кровь потекла... сердце ещё гоняет кровь по кругам существования, он потрогал уши — в картезианской психологии у дураков всегда холодные уши.

Ничего не мог придумать, ни одной строчки. Но собственные уши от прикосновения стали теплее.

*Ох, питерцы родные,
Остался я один.
Помру за выходные —
Поэт и гражданин.*

Пятница мусульманская кончилась, суббота еврейская началась, а за ней православное обычное воскресенье. И если б утро субботы не наступило — остался бы стоять один между двумя мостами, а если б все христиане задумались о молитве, можно было бы жить, не боясь. Террористка несчастная сейчас вернулась бы, и Наташа потом вернулась, и все бы вернулись друг к другу. Он чувствовал, что у него почти нет сил, а каким был здоровым, когда задумал исследовать тему русской свободы. Плохая водка... плохая водка, плохая водка — вот что!

Вот — что? Взял себя как чужого за руку — где он оставил палку?

Где и кому последний раз ставил? Назад глянул и понял, что жизнь — простой гон, надо просить у любой, ползать на коленях, колени целовать, пальчики массировать, уставшие за день, Элиота в собственной полуночи переведённого ей читать, жизнь — простой гон, собачий, кошачий, ишачий. Кто с молитвой-поллитрой, кто с головой-макитрой — голова у тебя как макитра, сказала хохлушка из Богучара, которая раз переночевала у него в норе. Одно женское прикосновение, непрерывное и ползучее, корольком-гусеницей ползущее по плечу, по груди, по её животу. Он сам так пополз корольком — всё-всё, что делал, было предусмотрено — всё-всё подглядывало вперёд — приподнимало край платья то спереди, то сзади. Жизнь была простой женщиной — понял только он и Василий Васильевич. Но Розанову нужен был храм, чтоб первые три дня молодые перед лампадой любились, а для

него всё стало полутёмным укромным храмом — язычник с нолягой любил всю любовь кругом и теперь только понял, кто он такой. И водка, и статьи про свободу, и то, что великих называл по имени-отчеству, были лишь приближением, охватом, скольженьем по телу. Когда ослеп, только эта женщина без имени его поняла, ослепнув, он понял, что не на то он всю жизнь смотрел.

*Ходите на работу,
Ходите на войну,
А я люблю любовь
Желанную одну.*

Она тихо шла за ним и догнала. Снова её плечо и грудь были рядом. Убогого можно жалеть, убогий не может стрелять. Он не различит в толпе, он не опасен, но он живой мужчина и может жалеть. Жалость одна осталась среди всех чувств, кого-то снова желанного позвал звериный рык из зоопарка.

И когда она сказала, что завтра хочет поехать на поезде на Кавказ, он сказал, что поедет с ней. Так она освободится — вернётся без страха, а если не вернётся, то с ним. Он взял её руку и поцеловал: я с тобой!..

Начнут новую жизнь, никак её не называя, чтоб не спугнуть.

На поезде до Пятигорска, там у него друг преподаёт в университете региональную культурологию, она станет переселенкой с Верхнего Дона. И толковал ей, молчащей, про верховья, где тихий-тихий Дон петляет меж белых взлобков горы и левад. Они выправят ей паспорт, и станет она переселенкой с российским гражданством, а он — простой инвалид, он забудет Наташу и символику креста.

А она в последний раз посмотрит на родные места, чтоб больше никогда не вернуться. Её там никто с ним не станет проверять, русский русак славянской внешности с русскими песнями военного и полувоенного образца. И после рассказа о верхнедонских лугах они поднимались в её разговоре по Бермамытской, где она когда-то увидела первых русских, спускались к базару, пили нарзан — он вспоминал Печорина и Грушницкого, а она уже взглядывала по сторонам, боясь найти знакомого, больше всего на свете желая встретить почти родное лицо.

И повёз поезд парочку в сторону Кавминвод, он сидел у окна в чёрных очках, она молчала, но с каждой станцией всё тяжелей становился её шаг, когда она несла стаканы с горячим чаем. Отсутствия двоих никто не заметил, теперь его нигде не было — без его бесконечной песни осталось питерское метро, и уже два новых самозванца в чёрных очках примеривали на себя роль подземного скальда. А она и вовсе оказалась нигде — с прошлым будто б рассталась, но ни к какому будущему не приближалась.

Но без вина и подземных куплетов он страшно начинал тосковать — она расслышала зубовный скрежет, когда приближалась с кипятком к его месту, он будто б невзначай толкнул — руку её взял и смотрел на красное пятно от кипятка на запястье. Не поняла, видит сейчас или нет, скулы заострились,

похож стал на волка — всегда был похож, а теперь вовсе сливался, в полутёмном тамбуре он стоял в углу как в засаде. И то, что она за ним ухаживала, отвлекало её от самой себя, они приближались к Кавказу, чтоб она навсегда с ним рассталась, а он — чтоб не бросать её.

Был сентябрь, солнце светило на горы — он поворачивал голову вслед освещённым зубцам, пил нарзан из вагонного стакана, и она боялась, что при следующем глотке откусит закраину стекла и вывернет губы в крови. Но будто бы невидимый пассажир-ангел ехал с ними в сторону Кисловодска — в его мягком присутствии распрямлялись углы и жесты, он хранил этих двоих, как Адама и Еву. Побывать вдвоём им не удавалось, тогда она, вспомнив давнее-давнее пионерское, завесила две полки простынями — они оказались будто бы в белом шатре. Но эта отгороженность от всех отличала, ей, значит, нужно было что-то скрывать. Она вновь вспомнила — поняла, что ничего и не забывала, а этот полуслепой капризный попутчик жил для себя, она для него была одной из того миллиона, с которым сталкивался слепой в прошлой подземной жизни. И никакой новой жизни не будет — она поняла, и ей стало легче, она сдёрнула мятый полог из простыней, а слепой даже и не заметил.

— Какая-то целебна грязца на Капказе есть! — изобразил царских времён инвалида. — Глазыньки помазать... свет! Грязь капказская, что такое? Как везде, земля с водой. Так-то, сестрица! Так-то! Пожил в купе, повалялся на канопе! Дойду до рынка... чувствовать себя счастливым полезно!

И потащился по вагонам с гармонью, подгадывая-подмигивая местным, но именно им-то и не нравится, как не нравится кавказскому жителю, когда изображают акцент.

*Когда едешь на Кавказ,
Солнце светит в правый глаз.
Возвращаешься в Европу —
Демократия — для вас!*

Даже забыл свой петербургский распевец! И сейчас, привлекая внимание, её выдаст. Одна осталась — кавказский живой воздух рождал в нём лёгкое, почти бездумное существование, а её возвращал к смерти.

Как она могла всё забыть?

Долго стоял поезд в Минводах, люди были не так сумрачны, как в Петербурге, но почти не улыбались, военные тяжело шли в разбитой горами обуви. Мимо всех, с оружием. Не было видно даже привычного ожесточения войны — мужской силы, смеяться богатой золотой осенью было будто бы никому не с руки. И все будто бы всё знали друг о друге и о войне, о тех, кто пробовал скрыться и до поры затаился. Будто бы и силы не прилагать — всё само собой раскроется, надо просто дожидаться мига, когда скрываться станет невыносимо, тогда люди поднимут головы, чтоб глянуть на то, что и так уже знают, и сразу начнут стрелять.

Она смотрела в окно на равнодушных военных, на сидящих пёстрых цыганок, цыганёнок шёл навстречу военному, и тот что-то положил ему в руку. И всё происходило будто само по себе, без человеческой воли, без

усилий и даже без слов, будто б даже без радости военные вернутся домой и равнодушные встретят ласки. Они, ей показалось, даже не хотят возвращаться, чтоб заново не искать себя, сейчас потерянных в бессмысленном движении вдоль вагонов.

К военному кинулись другие цыганята, он молча давал им в руки то, что ей не было видно. Одни маленькие попрошайки были с поднятыми лицами, а все остальные опустили глаза к земле. И она поняла, что все почти такие же, как она, и не надо завидовать цыганятам, занятым жизнью.

А слепой уже перешёл рельсы, качнулся на ящике, и гармонь распозлась мехами. Гра-а-ам!

И обратно решительно собрал планки. Гра-ам!

*Дорогой, куда ты едешь?
Дорогая, на войну.
Дорогой, возьми с собою, —
Дорогая, не возьму.*

Но любовная частушка времён всеобщей прошлой войны, теперь никого не тронула. Люди вообще будто бы потеряли память. Он оглянулся и посмотрел на окно, где она прижалась к стеклу. И ещё раз повторил — спел, ещё раз, ещё раз, меняя голос. То бас, то плач — кто-то, жалея, кого-то не брал на войну, солдат жалел полюбовницу милую. Милую полюбил навсегда Наташу!

И тогда питерский заорал про эту войну.

*Про-ощайте, братья-сёстры,
Прощай родной народ —
Бандитски пули востры
Врезаются в живот.*

Ах, предатель-паникёр! Всея прежней жиливой жизнью жилы и сухожилия натянулись, гармонь распятая вытянулась — рвал меха в разные стороны, звуки взрывались и никогда не побратаются в интернационале. А был же наш советский народ! Чеченцы в целевой аспирантуре учились на отделении научного коммунизма.

Он стал знакомцев высматривать, но зелёная будто бы военная электричка закрыла артиста, а когда прошли четыре вагона, его уж не было на перроне. Потёк вместе с людьми в сторону базара — куда артисту ещё? Он будто бы ещё видел, что она смотрит, поднял развернувшиеся красные меха почти над головой, потом опустил, и она услышала прекрасное и самое печальное на свете славянское прощанье.

Памятник солдату за ним стоял, старый паровоз-памятник красной звездой указывал путь. Общество раслоилось вокзальное, сколки блестяли под солнцем, пропало переживание.

И она поняла, что эта чужая звезда на памятнике для неё.

В толпе она всегда будет вести себя не так, как все. Всегда будет вздрагивать. Она не такая, как те, кто никого не жалеют. Нет особенной веры...

у кого есть смертная вера? Боясь чужой страшной толпы, она всегда будет стремиться в толпу. Она в роду первая и последняя женщина, род умрёт вместе с ней, она могла бы забеременеть и родить. Но не от этого же русского с гармонью и песнями! Он пьёт и курит, от него запах дешёвой злой водки, с утра стаканчик лёг на вчерашнее — от него отворачиваются свои, а он будто не видит. Не хочет ничего видеть — ему только в руку женщины дай, вцепится злой клешнёй. Если вылечить и отрезвить? — добрым станет, станет пить чай из пиалы и жмурить глаза. А её утроба навсегда по-своему пересоздаст младенца — просто забеременеть и уйти от него, и так начнётся и никогда не кончится род. А он не найдёт, он не видит, он не будет искать, она сама его первая бросит. Она будто бы сама по себе родит... мужчина спарится и уйдёт по своим глупым делам.

Природная гордость разумно противилась, но в ней не было того, что она знала, было в других. Они готовы пожить в распутстве, а потом их бросали, жалких и совсем сломленных. И они готовы взорвать собой всех, а она не хотела себя убить. Никакая вера не была так сильна, чтоб она перестала жить. И она поняла, что эти чужие люди от Кисловодска и до Санкт-Петербурга не враги ей, а просто живущие рядом существа. Не надо их убивать, они все кончатся сами собой. Как везде кончаются, как везде рождаются новые.

И она вдруг всё успела сказать ему вслед. Не хватало слов, но говорила уж из объятия, в котором сама по себе зачнёт ребёночка. Этим ребёнком будет и она сама, в крови и боли, тогда все поймут и все пожалеют, кто-то родится будто б от неё самой — ей вслед и ей в объятия, кровь перельётся в кровь, все жизни соединит пуповина.

Да вдруг пёс стационарный под окном рыкнул, что вычислят и отловят! И от кого рожать... где бродит не расслышавший слова подземный артист? Про когнитив сознания и чеченский менталитет псом рыкнул — никогда она не станет другой. Нет веры особой, есть стадное чувство. Сообщества поощряют жертвенность, а не гуманность. Одета в балахонистые одежды, чтоб взрывчатку скрыть, суетится, когда обыватель усталый спит, спокойна, когда обыватель салюту рад.

Но каждую же петербурженку хоть раз в день нужно погладить по низу живота! Незаметно прикоснуться в толпе на выходе из метро — опустить руку назад и дотронуться на миг — это точка, в которой всё есть — и линия, и долгота, и объём. И влага, и теплота. Она чуть не стала петербурженкой, она мирно вернётся туда. Он тоже вернётся, он сейчас вернётся, что ему делать на местном базаре? — там своих музыкантов полно. Документы его у неё, вот паспорт, вот удостоверение из библиотеки, где он испортил глаза, вот фотография в паспорте молодой умницы, что пишет про русский крест. Он сейчас придёт, они пересядут на другой поезд и поедут назад.

Что-то вдруг громыхнуло за стоящими поездами!

Она вместе со всеми повернула голову. Военные заспешили, будто за-ранее ждали.

Гр-ра-рау!

Ей показалось, расслышала — со стороны базара что-то необычайно высокое успела исполнить падающая с плеча гармонь.